

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАРЯГОВ



18+

Самое время!

Александр Мелихов

Второе пришествие варягов

«ВЕБКНИГА»

2026

Мелихов А. М.

Второе пришествие варягов / А. М. Мелихов — «ВЕБКНИГА»,
2026 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2662-6

В этой книге причудливо переплетаются поэзия и правда, история и фантазмагория. Увлекательные очерки реальных отношений России и Финляндии, отношений, в которых эпохи сотрудничества сменялись эпохами противостояния, составляют парадоксальный ансамбль с романом-утопией, предлагающим способ раз и навсегда покончить с войнами. Утопия, как всегда, оборачивается антиутопией, предостережением. Но к этому итогу читателя приводят страницы увлекательнейшего чтения. Начиная с того, что во время Гражданской войны Маннергейм выбивает большевиков из Петрограда и восстанавливает Российскую империю...

ISBN 978-5-9691-2662-6

© Мелихов А. М., 2026

© ВЕБКНИГА, 2026

Содержание

Второе пришествие варягов	6
Саринин и Сааринен	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Александр Мелихов

Второе пришествие варягов

© Александр Мелихов, 2026

© «Время», 2026

Второе пришествие варягов

Саринин и Сааринен

– Итак, отправляемся в зону безмолвия. Сейчас все поймешь, – дважды рокотнул Глеб своим басом-профундо, которым когда-то повергал в немоту пригородную гопоту, а теперь возвращал речь своим пациентам.

Словом возвращал слово.

Никакой мистики. Бывает, что центры, управляющие речью или движениями, разрушаются, а центры, исполняющие команды, остаются, и человек сам сделать ничего не может, но команды выполняет. Можно сказать, образ народа и вождя.

Особенно если вождь отдает команды могучим басом и подкрепляет их весом отглаженного белого халата на раздавшемся пузе. Только белый халат и может наделить ощущением непререкаемой правоты, тщетно надеялся я когда-то.

Я ожидал увидеть кого угодно, но только не карельского экскурсовода, некогда открывшего нам, куда девалась белоглазая чужь. Так теперь он, стало быть, пророк? Да еще и глебовский пациент?

Ну и дела!

Пациент означает страдалец. Но наш бывший экскурсовод, похоже, не страдал, а наслаждался молчанием. В своем чистеньком боксике, в котором другой заметался бы в приступе клаустрофобии, он величаво возлежал на подушках поверх покрывала, распушив белоснежную полуметровую бородину по голубой шелковой пижаме, а пророческие седины разложив по плечам. Меня сразила прежде всего борода, седины – только во вторую очередь. Да, без бороды в пророки не пробьешься, пророка делает борода.

Пророк смотрел в нашу сторону с выражением надменной правоты, не замечая нас.

И слава богу – мне всегда неловко, что я такой шибздик в сравнении с Глебом, он чистый Волк Ларсен, викинг, варяг, блистательно лысеющая белокурая бестия. Скуластая и мосластая. Правда, раздобревшая и подобревшая.

– Знаешь, кто этот мощный старик? – пророкотал Глеб.

– Наш экскурсовод. Саринин, – ответил я вполголоса: мне неловко называть человека по фамилии, если даже он вроде бы ничего не понимает.

– Саринина оставь барышням из петрозаводского турбюро. Не Саринин, а Сааринен. Однофамилец великого архитектора – ты видел вокзал в Хельсинки? А также отец русской демократии и особа, приближенная к демократическому императору. Встать!

Глеб гаркнул таким громовым голосом, что я присел, а Сааринен, наоборот, вскочил и вытянулся как на смотру.

– Слушать голос карельских берез!.. – Глеб властно ткнул пальцем в направлении тумбочки, на которой лежала красивая деревянная пепельница, отдаленно напоминающая человеческое ухо размером с ладонь. Пепельница была сплошь пронизана коричневыми точками и запятыми. Как и тогда на карельских лотках.

Или это был один и тот же лоток? И, того пуще, не может же быть, что и пепельница та же самая?..

Сааринен с надменной покорностью приложил обтекаемое ухо к уху.

– Товарищ Сааринен верит, что карельские березы умеют понимать главную суть всего, что их окружает, а он умеет слышать, что они шепчут. Поэты веками твердят, что березы им что-то шепчут, но вот наконец эта пошлость сбылась. А ну, расскажите о нашем госте! Быстро! Я кому говорю!..

И пророк в тоне военного рапорта, стоя навтыжку, что смотрелось довольно дико при его невесомых волнующихся седилах, принялся словно по писаному докладывать мне обо мне. Я слушал, не смея покоситься на Глеба, о котором в рапорте тоже шла речь. Я старался смотреть на голубую пижаму докладчика, переливающуюся под дуновениями кондиционера, словно лазурное тропическое море.

– Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне наваял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья.

Петрозаводский экскурсовод не забыл «Калевалу», без которой когда-то шагу не мог ступить, но теперь зачитывал ее наспех, скороговоркой и продолжил свою речь в том же тоне сердитого докладчика. Я ждал, что он сейчас упомянет еще и свою любимую метафизику, но так и не дождался.

– Расскажу теперь про гостя, что напела мне береза. Он из жалкой той породы, что пред всеми виноваты и завидуют счастливым, кои от рожденья правы. Значит, те ни разу ни душой не покривили, не струхнули, не солгали. Сам-то он такой безупречно похвастаться никак не мог, он знал, что он так себе человечиска. И каково же ему было ощущать свое несовершенство в окружении совершенств! Он чувствовал, что и отец его, хоть и любит играть желваками, подчеркивая свое сходство с Василием Шукшиным... В честь Шукшина он и гостя нашего назвал Васей... Так Вася видел, что и отец его тоже не уверен в своей правоте. Молчит, молчит в подпитии на кухне и вдруг как грохнет кулаком по столу, так что и посуда, и домашние подпрыгнут: «Я, по крайней мере, чужого места не занимаю!»

Откуда бывший экскурсовод мог это знать?.. Глеб рассказал? Но я вроде бы этим и Глеба не грузил... А ясновидящий продолжал чеканить:

– Наш гость всегда ощущал себя особенно виноватым перед отцом. Он явно обманул отцовские ожидания, хоть и не знал, в чем они заключались. Но когда он поступил в медицинский институт, отец одобрил: если что, так и на зоне будешь лепилой. И в анатомическом театре он впервые почувствовал себя уверенно. Если даже он что-то делал не так, трупам было все равно, они не обижались. Наш робкий гость вместе со своим отважным другом Глебом, подобно стервятнику, охотился за каждым свежим покойником, пока того не забрали родственники, чтобы втайне от начальства еще что-то вскрыть и чему-то научиться. Но когда ему пришлось иметь дело с живыми, оказалось, что белый халат, сколько его ни крахмаль, лишь удесятерит вину. Он не имел права на халат, потому что никогда не знал, правильно лечит или неправильно. Вернее, когда лечение не помогало, виноват точно был он. А вот если помогало, то, скорее всего, справился сам организм. Наш гость начинал ощущать уверенность только тогда, когда с ним рядом был Глеб. Глеб был так могуч, что в одиночку сдвигал для закрепления перебитые бедренные кости, хотя обычно для этого требовались двое.

– Ну-ну, не надо льстить так грубо, – польщенно рокотнул Глеб, и Сааринен внезапно тоже гаркнул так, что я снова присел, а белоснежная борода пророка взметнулась, словно под порывом ветра:

– Молчать!.. Карельская береза лучше знает!.. Мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья!..

Я не смел взглянуть на Глеба, с ним впервые так обращались в моем присутствии. Обычно он сам обрывал других. Однажды он под местным наркозом оперировал знаменитого хирурга, академика и лауреата, с которым на даче случился приступ острого аппендицита, и тот беспрестанно давал ему указания, пока Глеб наконец не заорал анестезиологу: «Да отключи его на хер!» Но теперь Глеб смолчал – впервые с тех пор, как мы познакомились.

Зато в голосе пророка начали все заметнее нарастать глебовские раскаты, нарастало и волнение в шелках пижамы:

– Наш гость показал себя, можно сказать, героически, когда они с Глебом подрабатывали на пригородной скорой помощи. Это были девяностые, не хватало ни кадров, ни лекарств,

ни бензина, и начальство к ним не придиралось, чтобы вообще не остаться без помощи. И самое необходимое они с другом за свои медяки покупали в аптеке, и, случалось, накладывали жгуты из собственных носков. А бензин Глеб иной раз скачивал у остановленных легковушек, перекрыв движение ободранной каретой с красным крестом. Его свирепый вид и громовой бас разом пресекали попытки протестовать. Иногда только бабы поднимали визг. Девочек в детстве реже бьют, и оттого они бывают смелее. Визгливых он пропускал. Зато тем более свирепо набрасывался на мужиков: «Там человек умирает, а ты из-за литра бензина жмешься!»

Да, было, было что-то такое. По дороге в Гадюшник.

Пророк словно подслушал мои мысли и тут же выложил историю Гадюшника, которую я не знал:

– Через полгода после Октябрьского переворота в прибрежный песок у селения финских рыболовов и огородников со стороны Кронштадта врезались три минных катера, осененных бархатным черным знаменем с грубо намалеванным черепом и костями. Из них высадилась объявившая себя анархистами шайка павианов в матросской форме. Их в ту пору именовали жоржиками. Жоржики были переkreщены пулеметными лентами и вооружены винтовками и маузерами в ореховой кобуре. Первым делом они обобществили женщин и запасы спиртного. Мужчин, пытавшихся оказать сопротивление, расстреливали на месте или вешали в дверях их собственных домов. Через три дня такой развеселой жизни село на рассвете окружил отряд красноармейцев. Жоржиков взяли, как говорится, тепленькими. Затем отогнали за три версты к заросшему тальником Гадючьему логу и там покосили из пулемета – оружия пролетариата. Закопать их согнали жителей села, и эта трудовая мобилизация в первый и последний раз у них не вызвала ни малейшего недовольства. Зато зубы павианов еще много лет давали всходы. Словно сами по себе, самосевом по краям Гадючьего лога вырастали хибары, населенные вороватой и наглой рванью, держащей в страхе мирный окрестный люд. Время от времени власти про этот Гадюшник вспоминали, хибары сносили, их обитателей частично сажали, а частично разгоняли. Но через не такое уж долгое время Гадюшник снова вырастал сам собой, населенный как будто бы той же самой сволотой. Во время блокады финнов как неблагонадежный элемент выселили куда-то в Сибирь или на Крайний Север, а их дома заняли национально близкие граждане, в том числе и юный отец нашего гостя. Им с матерью и малолетними братьями как семье фронтовика выделили один из лучших домов...

Я потупился и осторожно покосился на Глеба, опасаясь его осуждения, но Глеб тоже потупился, что с ним бывало нечасто, а точнее, никогда.

– К чести нашего гостя, когда в начале девяностых он прочел в местной газетке статью о депортации ингерманландских финнов, он устыдился. Он был уже студентом, и когда его отец в очередной раз грохнул кулаком по столу: «Я, по крайней мере, чужого места не занимаю!» – он бросил отцу в лицо: «Ты только чужой дом занимаешь!» Он впервые в жизни был так наполнен правотой, что, пожалуй, не убоился бы даже схватиться с отцом на кулачках. Но отец лишь поиграл по-шукшински желваками и ответил тоже с полной правотой: «Мой дом лет за десять до того тоже кто-то занял. И дом забрали, и кузню. А мы еще спасибо сказали, что дали ноги унести». – «Но все-таки дали! А их выслали. Их там чуть ли не треть вымерла...» – «А нас здесь половина вымерла. Моих братьев в том числе. И твоих малолетних дядьев, между прочим». Отец снова поиграл желваками, и наш гость понял, что человек, который говорит от имени каких-то «нас», всегда безнадежно прав. Тем более если он пострадал: пострадавшие уже больше никому ничего не должны...

Нет, не могу сказать, что я уже тогда это понял, я просто смирился, как всегда смирился, столкнувшись с непрошибаемой правотой. Доконал меня обиженный тон, с которым отец прибавил: «Они велосипед с собой забрать не могли, так на запчасти разобрали и половину выкинули. Сам не дам и другому не дам. Хотя до этого мы с ними нормально жили. Иногда с пацанами соберемся: “Пошли чухну бить! – Пошли!” Это сейчас считается как оскорбление, а тогда

нормальное было слово. Навалием друг другу, а потом вместе идем в кино. В бывшую ихнюю кирку».

– Нашему гостю случалось наслаждаться правотой, только когда он спешил за шагающим метровыми шагами Глебом спасать порезанного или побитого туземца в обновленном Гадюшнике. Хотя на месте халуп, состряпанных из всего, что можно найти или украсть, были натыканы блочные хрущевки, зубы павианов продолжали прорастать мордобоем и поножовщиной. На которую милиция выезжать не спешила, зная, что придется отбиваться от пьяной толпы. Возмущенной, что приехали слишком поздно, что задают не те вопросы и забирают не тех, кого надо. А доктора были связаны клятвой Гиппократы. Глеб даже находил особое удовольствие в том, чтобы не щадить усилий, спасая таких уродов, которым, иногда казалось нашему гостю, самое место на том свете. Зато здоровых Глеб иной раз и сам готов был отправить на тот свет, когда они начинали наглеть. Карету приходилось оставлять за углом, чтобы ее не захватили павианы, и к очагу военных действий Глеб шагал очень решительно, поигрывая увесистой монтировкой. Наш гость же вооружался кривой рукояткой, которой тогда заводили двигатель. Ему хотелось, чтобы его принимали за водителя, водителей больше уважают. Глеб решительно расталкивал толпу и, когда пробивался к распростертому на окровавленном снегу или асфальте раненому или избитому, кто-то из его дружков непременно возникал – чего так поздно или смотри, хорошо лечи, а то... Тут Глеб стремительно поворачивался к возникавшему, заносил над головой монтировку и рявкал так, что в Гадючем логоу с шумом взлетало воронье: «А ну, заткнись, падла! А то я тебе щас глаз на жопу натяну!..» И все замирало на версту кругом. Зато с незащитными Глеб был нежен, словно родная мама. Однажды он даже через носовой платок дыханием рот в рот приводил в чувство пьяного гопника, потерявшего много крови из-за глубокого пореза предплечья. И в конце концов тот так раздухарился, что в машине начал материть своих спасителей и в довершение харкнул на пол. Тогда Глеб остановил машину в морозном поле, сунул этому уроду замызганную тряпку и приказал: «Вытирай. Или я сейчас сниму с тебя жгут, и ты сдохнешь». – «Ты не имеешь права, тебя посадят», – попытался залупиться павиан, но Глеб ответил так спокойно и грозно: «Ты сдохнешь, а мне дадут выговор», что мерзкая обезьяна упала на карачки и что-то из последних сил изобразила...

– Ну-ну, не будем преувеличивать, – смущенно рокотнул Глеб.

Видимо, он сам рассказал пророку что-то в этом роде и опасался, что я начну его разоблачать. Но я бы не стал, суть наш бывший Саринин передал правильно.

– А сейчас мы подходим к роковому моменту романтизированной биографии нашего гостя, – после торжественной паузы провозгласил Сааринен, надменно откинув невесомые седины. – Нашему не в меру совестливому свинопасу выпало сказочное счастье жениться на принцессе...

Я похолодел, не смея даже покоситься на Глеба. Если бы пророк продолжил при нем, я бы зажал ему рот. Но Глеб оказался на высоте.

– Извините, мне на лечебную физкультуру надо заглянуть, – вполбаса прогудел он и ускользнул в дверь, насколько такие упитанные богатыри способны ускользать.

– Однажды во время ночного дежурства разыгралась страшная буря, сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из ведра, было страшно подумать, каково тем, кто в эту минуту оказался без крова. И вдруг в дверь робко постучали. «Войдите!» – крикнул наш гость, но стучавший почему-то не входил, пришлось, внутренне чертыхаясь, встать с уютного продавленного кресла и открывать самому. За дверью стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала с ее волос и платья прямо в хрустальные башмачки, и все-таки сразу было видно, что она настоящая принцесса. Наш гость поспешил сопроводить ее в комнату отдыха и принес чистую пижаму и чистый больничный халат, чтобы она могла переодеться. Но когда, выждав достаточное время, он постучался к принцессе, то оказалось, что она по-прежнему стоит во всем мокром, в ужасе глядя на сухую и теплую одежду: «Я не

могу это надеть, я не огородное пугало!» Оставалось только, завернувши в байковое одеяло, отвезти ее к себе домой в карете скорой помощи. Но и там она не припала жадно к горячему чаю, а осторожно к нему принялась и спросила: «Чем это он пахнет?» Тут наш гость окончательно уверился, что перед ним настоящая принцесса, и не сходя с места предложил ей руку и сердце. В больнице он считался завидным женихом еще и потому, что после смерти матери и отъезда отца к брату на Алтай остался владельцем большого бревенчатого дома со всеми удобствами. Но когда его боготворимая супруга узнала, что из этого дома когда-то выслали на страдания и возможную гибель его финских хозяев, ей в каждом углу стали мерещиться призраки, укоряющие ее в том, что она воровка, грабительница, пособница палачей... Благоговев перед высотой ее души, наш гость с помощью друга продал дом и купил скромную двушку в Столярном переулке. Но и там высокая душа принцессы не обрела покоя. Ей представлялось, как их дом вымерзал и вымирал во время блокады, как по ночам за его жильцами приезжали черные «маруси» во время Ленинградского дела...

Да, было что-то в этом роде, но нам, заурядным людишкам, этого не понять.

– Целовать себя в губы принцесса не позволяла: ты же медицинский работник, ты должен знать, сколько во рту микробов! Чмокнуть себя в щеку она изредка все-таки позволяла, но тут же протирала поцелованное место спиртом. Ее несчастный и в то же время счастливый супруг лишь изредка решался ей отдаленно намекнуть на некие супружеские обязанности, и она, послав ему взгляд бесконечной укоризны – как он может думать о таких пошлостях среди стольких смертей и мук! – все-таки начинала какие-то приготовления, в полной темноте звала его на ложе: «Приходи, я готова...» Это звучало как «издевайся, пользуйся своей властью». Ее голос убивал в нем последние эротические поползновения. А если, начиная с робких поглаживаний, ему все-таки удавалось их пробудить, то в последний миг она отчаянно вскрикивала: «Больно, больно!» – и он в ужасе отшатывался. А потом запирался в ванной и саморазряжался, сдерживая стоны и рыдания. Он же понимал, что по-настоящему страдает только она, ведь ее ранит каждый громкий звук. И даже не очень громкий. Когда после ночного дежурства наш гость пытался согреть чай, ему никак не удавалось поставить чайник на плиту без хотя бы самого микроскопического, но все-таки звука. Он замирал, и действительно из комнаты принцессы тут же доносился стон: «Чем ты там лязгаешь?.. Это просто какой-то садизм, я же только что заснула...» Она не могла спать без снотворных, и потому хранить абсолютную тишину полагалось в любое время суток, ибо в любое время суток могло оказаться, что она только что заснула...

Я слушал оцепенев, не поднимая глаз. Конечно, это была злая карикатура, но иногда карикатура ухватывает суть лучше, чем парадный портрет. Злую суть. Закрывая глаза на то, какую невыносимую нежность вызывало у меня это благородное беспомощное создание. Я ощутил сильное сердцебиение и уже подзабытую боль за грудиной, наполнившую меня робкой надеждой: может, меня вылечили не так уж и бесповоротно?.. Вдруг мне все-таки удастся последовать за моей любимой девочкой?

Меня всегда сильнее всего уязвляют не слова, а намерения. Причиняет боль прежде всего намерение причинить боль. Но пророк явно не имел ни малейшего желания меня уязвить, он, похоже, даже не заметил, что перед ним теперь один слушатель, а не два. Он продолжал сердито докладывать стенке позади меня.

– Мне можно сесть? – осторожно спросил я его, ноги внезапно ослабели.

Но он презрел мой вопрос, и я опустил на единственный стул.

Пророк же продолжал долбить в воспаленное место:

– С началом военных действий на южных границах принцесса практически перестала есть, хотя и прежде едва клевала, ибо всякая еда уже через час после приготовления казалась ей испорченной. Но когда при любой попытке утолить голод она начинала возмущаться: как можно обжираться, когда погибают люди! – наш гость наконец взорвался: «Ты всегда жалеешь

тех, кого не видишь! Блокадников жалеешь, а всеми встречными брезгуешь! Одеваются не так, разговаривают слишком громко, всегда не о том... Хотя блокадники были ничуть их не лучше, такие же самые люди как люди! Ты меня годами изводишь и хоть бы раз поинтересовалась, как у меня дела на работе! А меня сжирает страх что-то сделать не так!» Он ведь специально пошел в физиотерапевты, потому что о них с презрением когда-то отозвался его друг: что это за медицина – включил, выключил... Он и понадеялся, что хотя бы там виноват будет не он, а прибор. И приборы там были очень красивые, передаточные трубки похожи то на электро-бритву, то на микрофон, то на фонарик – очень элегантные. И слова одно красивее другого: магнитное поле, электрическое поле, токи Бернара, ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение... Но оказалось, что и там легко сделать что-то не так. И не просто не так, а если выберешь не то место, не ту дозу, то можешь прямо-таки погубить человека. Спровоцировать инсульт, инфаркт. Хотя другие доктора, наоборот, были уверены, что толку от всех этих излучений и полей как от козла молока. И снова все были правы, а он один неправ. Если толку от этих излучений нет, тогда он жулик. А если толк есть, но можно нечаянно погубить больного, то какое он имеет право так играть чужими жизнями? Это была неотступная мука, но сочувствия от жены-принцессы... чего не видел, того не видел. Вот он наконец и взорвался...

– Извините, но этого не было, – наконец попытался тоже отчеканить я. – Я всегда уважал ее чувства. Я все чужие чувства уважаю, это мои никто не уважает.

Но докладчик меня не услышал. Меня никогда не слышат, когда я пытаюсь что-то сказать. Чтобы меня расслышали, приходится кричать, и тогда все удивляются: чего ты кричишь? Так что разъяснять бесполезно, но я-то знаю, что пренебрег ее чувствами единственный раз. Когда мы с Глебом еще работали в скорой, нас ни с того ни с сего вдруг наградили турпоездкой в Карелию. Мне было неловко ехать без принцессы, и я надеялся, что она меня как-то благословит, выдаст индульгенцию, так сказать, но она произнесла печально: «Езжай, конечно, отдохнешь от меня». И я действительно впервые почувствовал, что и в самом деле хочу от нее отдохнуть, и мне стало так стыдно, что я поспешно возразил: если она так это воспринимает, то я откажусь, я совершенно не нуждаюсь ни в каком отдыхе от нее, наоборот, я буду скучать. Но она сказала еще более безнадежно: «Если ты не поедешь, то кем я буду себя после этого чувствовать? Нет уж, езжай».

И я поехал. Проиграл состязание в благородстве. Но тяжесть на душе не оставляла меня до тех пор, пока в Петрозаводске бойкая девица с микрофоном не представила нам в автобусе скуластого блондина, отдаленно напоминающего Глеба, лет на десять постарше, не такого могутного и немножко неземного: «Вас будет сопровождать товарищ Саринин. Наш лучший экскурсовод. Кандидат исторических наук».

«Товарищи» в Карелии, похоже, подзадержались. И в моей памяти тоже слились «товарищ» и «Саринин». А он, оказывается, Сааринен. И теперь я так к нему и обратился:

– Товарищ Сааринен... – Но тут же вспомнил, что теперь он умеет говорить только по команде, и через силу попытался гаркнуть: – Сааринен, отвечайте!

И он гаркнул в ответ:

– Какой я Сааринен, я Вяйнямёйнен!

И его пижама потемнела, словно Онежское озеро в ненастье, надвинувшееся на нас, как только Саринин сквозь дыру в скамейке ввинтил в ржавое гнездо на дне своей обветренной лодки тяжелую мачту и развернул на ней сшитый из мешковины парус.

Такое доверие наша троица завоевала у него только на четвертый день. До этого он возил нас куда-то на природу, до которой я был не очень большой охотник: с детства для меня это была часть хозяйства – собирать грибы, бруснику-чернику... Это и само по себе скучно, да еще отец все время подгонял. Водопадов, порогов у нас, правда, не водилось, но от подобных красот мне становилось совестно, что их не видит моя принцесса. А деревья, кусты – не понимаю, что в них может быть интересного. Но когда Саринин нараспев зачитывал из «Калевалы», как

все это высаживал какой-то мальчик-крошка по имени что-то вроде Самса, на них сразу же хотелось смотреть.

«Засевает он прилежно всю страну, холмы, болота, все открытые поляны, каменистые равнины, на горах он сеет сосны, на холмах он сеет ели, на полянах сеет вереск, сеет кустики в долинах, сеет он по рвам березы, ольхи в почве разрыленной и черемуху во влажной, на местах пониже – иву, на святых местах – рябину, на болотистых – ракиту, на песчаных – можжевельник и дубы у рек широких...»

К моему изумлению, у меня в ушах зазвучал проникновенный голос тогдашнего Саринина – видно, и на мне сказалась близость карельской пепельницы.

Постоянным цитированием «Калевалы» наш вожатый, похоже, поднадоел автобусным теткам, они начинали потихоньку разбредаться, а Глеб открыто отходил покурить, и только мы с плечистой блондинкой в блеклой летней джинсуре одобрительно переглядывались и кивали друг другу: как интересно люди жили, когда во все это верили! Где-то после третьего-четвертого кивания я посчитал себя вправе представиться, а она как будто не поверила: «Ой ли?» Оказалось, Ойли – ее имя и она приехала к нам из какого-то финского городка с непронизуемым именем, оканчивающимся на «пуйсто», чтобы посмотреть на землю, которую когда-то оккупировал ее дедушка, и рассказать, кому удастся, как ей стыдно за него. Из-за чувства вины перед русскими она и пошла на русистику, или как там ее, и даже защитила магистерскую диссертацию по какой-то поэме Баратынского, в которой русский офицер погубил финскую девушку. Ойли усмотрела в этом способность русской культуры сочувствовать жертвам русской удачи, вроде того. Она хотела со своим покаянием как-то вклиниться в рассказы экскурсовода, но никак не могла найти повода. В сагах Саринина финны и русские представляли самыми что ни на есть братскими народами, потому что у них были общие магические «практики», и даже древнее слово «чудь» в русском языке переросло в чудесное слово «чудо». Он возил нас от заросших мхом воронок и бугров к завалам валунов, и всюду это были какие-то священные места древних словен и древних угро-финнов – чудь, водь, весь... Не случайно же в «Руслане и Людмиле» был так важен «вещий финн, Духов могучий властелин»!

Саринин всячески давал понять, что войны и захваты – мелкие коммунальные склоки в сравнении с единой метафизикой. Слово «метафизика» он употреблял осторожно, понимая, что этим окончательно распугает туристических теток, он больше расписывал общие ритуалы и поверья. Людей объединяют не государства, а священные рощи и родники, священные скалы и болота, предания и жертвоприношения, духи и божества, кудесники и колдуны, – и этой общей почвы у нас никто не сможет отнять, если мы будем ее помнить и почитать. Диковинные имена и диковинные священнодействия зачаровывали теток, и даже Глеб снисходительно слушал, стараясь, чтобы его насмешливая улыбка не выглядела наглой, но и не оставалась незамеченной. Мне же было страшно неловко, оттого что все эти древние выкрутасы казались давным-давно и за дело забытой галиматей, – чтобы Саринин не прочел мои мысли по глазам, я старался не отрывать глаз от мхов и камней.

Это было делать тем труднее, что у каждого священного валуна или болотца тут же вырастали с лотком в руках фольклорные жидкобородые мужички, казалось, в одной и той же высокой черной шляпенке с закосом под цилиндр, в домотканой косоворотке-вышиванке и таких же домотканых штанах, заправленных в крючконосые сапожки, перехваченные разноцветным пояском. На лотке были выложены всякие карельские сувениры, в том числе обтекаемая деревянная пепельница в форме человеческого уха, но никто ее так и не купил.

Неужто эта пепельница меня наконец настигла?

А однажды Саринин показал нам обветренную деревянную церковь и объяснил, что ее восстановили по описанию какого-то финского лейтенанта. Финское начальство хотело пока-

зять, что они уважают чувства верующих, и отправило его в специальную экспедицию по Карелии. Он все и описал: размеры камней в фундаменте, окладные венцы, прирубы, выпуски, гудьбища, повалы, рыбы хвосты, охлупни, потоки и курицы, причелины и паруса, жиковины и балясины...

Конечно, только пепельница напомнила мне эти вкусные слова, да они лишь нашей тропе и показались вкусными. Саринин это заметил и на обеденных остановках стал присаживаться за наш столик.

Ойли была девушка прямая и первым делом спросила, почему он ничего не рассказывает о финских концлагерях для русских на оккупированных территориях, и Саринин с достоинством ответил, что напоминать нужно о том, что сближает народы, а не о том, что их разъединяет. И, словно бы без связи с вопросом, показал нам фотографию двух пожилых мужчин, которую достал из черной барсетки. Это были его отец и брат отца. В тридцать девятом один ушел с финнами, а другой остался. И в конце восьмидесятых финский брат разыскал советского и покатал его по всей Европе, и они сфотографировались где-то на фоне Альп. И мы увидели уверенно улыбающегося преуспевающего иностранца рядом с пришибленным советским пенсионером.

Мы довольно долго молчали, пока я наконец не решился пробормотать, что я провел детство в доме черт-те куда выселенных финнов и мне до сих пор стыдно...

– Так этто таак и наатто! – радостно подхватила Ойли. – Кааштый тоолжен раскаиифаться саа сфоой нарроотт! Я саа сфоой, а ты саа сфоой!

– А за какой народ должен раскаииваться я? – надменно поинтересовался Саринин. – У меня отец финн, а мама русская.

– Я не понимаю, почему я вообще должен раскаииваться за то, что творилось до моего рождения? – в рокоте Глеба наметились отдаленные громовые раскаты, и все почли за лучшее замолчать.

А Саринин разрядил обстановку анекдотом о молчаливости карел. Три карела в кабаке выпили по рюмке водки, и один из них сказал: «Хорошо». На следующий день первые двое снова собрались в кабак, и один спросил про третьего: «Его позовем?» – «Не надо. Болтун».

Больше к этой теме не возвращались, но мы с Ойли окончательно почувствовали друг в друге родную душу. Меня ужасно умилял ее акцент: она не выговаривала буквы ща и це, говорила: сяс, синиисм...

А еще меня умиляли ее аппетит к незамысловатой столовской жарчке и бесстрашие перед студеной водой, она всюду лезла купаться, а потом переодевалась, снимая свой очень смелый цветастый купальник, не особенно глубоко забираясь в кусты, и я впервые познал эту радость – любоваться женщиной, не испытывая страха за нее. Даже складочки на пояснице меня умиляли – в них тоже была сила жизни.

О прочих формах я не говорю. Я старался отводить глаза, но они все нужное уносили с собой – там было что унести (невольно всплывали в памяти тощие бледные бедрашки моей мученицы – пару раз я нечаянно входил в ванную, когда она забывала задвинуть защелку, и каждый раз она вскрикивала так испуганно, что я вылетал как ошпаренный). Когда Ойли с Глебом, сверкающие на солнце, балансируя, выбирались на прибрежные камни, они вполне потянули бы на иллюстрацию к «Калевале» – богатыри. Не я.

Но Ойли все-таки чуть ли не силком затащила в воду и меня, повторяя: «Каак юный княась, исяссен». Она была поклонницей Окуджавы, а моя subtilность представлялась ей изяществом. Я и не заметил, и не понял, с чего вдруг солнце стало сиять, а не припекать, а вода из леденящей сделалась бодрящей. И зелень ни до ни после не была такой изумрудной, и синева больше никогда не была такой лазурной – я и не догадался, что это была любовь. Откуда мне было знать, что любовь не сострадание и не благоговение, а счастье?

И когда Саринин на своей обветренной лодке отправился показывать нам какой-то остров, на котором какая-то белоглазая чужь под землю ушла, я испытывал такой душевный подъем, что лишь моя стеснительность помешала мне запеть во все горло: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход!»

А когда поднявшийся ветер до отказа надул наш парус и мачта зазвенела от перенапряжения, нос начал зарываться в барашки, волны заплескиваться в лодку, а Саринин попросил сесть за руль Глеба – сам он его уже не мог удержать, – то я лишь ухватился покрепче за борта, чтобы усидеть на скамейке, и смотрел на горизонт, чтобы меньше укачивало. Саринин, придерживаясь одной рукой, дюралевым ковшом лихорадочно выплескивал воду за борт (ее тут же разносило ветром), и вид у него был довольно бледный и очень серьезный. Как и у всех, даже у Глеба, а я не испытывал ни малейшего страха – только восторг. Хотя, возможно, я просто менее подвержен морской болезни. Я был даже недоволен, когда наша лодка врезалась в прибрежную осоку.

И ветер тут же стих, будто раз уж не сумел нас утопить, то теперь не стоит и стараться. Саринин, раздевшись до плавок, хотя мы все равно были промокшие, прыгнул в осоку, выволок нос лодки на берег и примотал цепью за специальный кол. Затем забрался в близлежащие, почти вплотную сросшиеся кусты, – он распоряжался, словно у себя дома, – и выволок четыре пары овальных плоских плетенки длиной сантиметров семьдесят и шириной что-нибудь около тридцати.

Он примотал их к нашим босым ногам заскорюзлыми ремешками, и нам пришлось долго шлепать по идиллическому изумрудному лугу, тут же начинавшему оседать под ногой, так что остановиться было невозможно. Но я был так воодушевлен, что не испытывал ни малейшего беспокойства, тем более что ногам было холодно и приходилось постоянно поправлять мокроступы, чтобы поменьше врезались прутья. И я почувствовал только восхищенное удивление, когда на плоском, едва возвышающемся над лугом-болотом острове перед нами предстали в ряд три небольших кургана.

Я думал, это очередные святилища угро-славян, но это оказались избушки, полузасыпанные землей и обложенные дерном, давным-давно прижившимся и закустившимся. Глебу с Сарининым досталось по отдельной землянке, а меня Ойли увлекла к себе. Ойли оказалась достойной наследницей белоглазой чужди. Я не успел подсуетиться, чтобы тоже принять участие, как в очаге уже трещал хворост и гудело пламя, устремленное к круглому иллюминатору над головой, в котором небо казалось чернее черного бархата, а наша одежда сушилась на столешнице опрокинутого набок неструганого стола. Оставшиеся в купальных костюмах, переступая по золотой соломе, мы вертелись у огня, чтобы пропечься со всех сторон, и когда я начал ее целовать, то целовал не ее тело, я целовал Калевалу, я целовал синь и свинец бесконечного озера с его глазами и барашками, я целовал колдовское братство наших предков, я целовал солнце на небе и огонь в очаге – я целовал счастье, которого никогда не знал и предчувствовал, что больше никогда и не узнаю.

Но Ойли поняла меня слишком буквально. Она молниеносно расстегнула на спине свой узенький цветастый лифчик и в одном наклоне сдернула и перешагнула через трусики, а потом без церемоний сдернула плавки и с меня. Удержать их я не мог, потому что поспешно прикрыл срам – от холода он так съежился, что это был действительно стыд и срам, – а Ойли силой приподняла сначала одну мою ногу, потом другую и подбросила мои плавки к закопченному потолку. А сама упала спиной на заваленный соломой топчан и вскинула кверху свои могучие ноги, и при мечущемся свете костра ее нижние губы показались мне оттопыренной алчной присоской.

Ясно понимая, что мне будет нечем ответить на этот вызов, я все-таки, словно кролик к удаву, двинулся к поджидавшей меня пасти и остановился лишь у самого гробового входа. Ойли, однако, все смекнула, быстрым движением села, опустив ноги на пол, силой раздвинула

мои руки и всосала моего перепуганного малыша в верхние губы. Она принялась работать с ним так умело и азартно, предварительно положив мои ладони на свои холодные могучие груди, что он быстро раздулся до вполне терпимого размера. Главное было – держать глаза закрытыми, и когда Ойли всадила его в себя, словно кинжал, я снова ощутил необыкновенный подъем. Но это было не просто наслаждение, это было счастье, которого и отблеска не было в моих одиноких радостях со слезами на глазах, и невыносимо было думать, что его на самом пике придется прервать, чтобы она, не дай бог, не залетела. «Можно внутрь?» – задыхаясь спросил я на пороге финального взрыва, и она, тоже задыхаясь, повторила несколько раз: «Та-а, та-а, та-а!»

Потом мы лежали рядом на скользкой соломе, оба потные – очаг дышал жаром, – и Ойли зачарованно прошептала: «Тиы таккоой муссиина!.. Натееюсь, у нас пуутет реппёонок».

Меня словно ледяной волной окатило. Какой ребенок, да еще в Финляндии – я ведь по гроб жизни привязан к моей принцессе! Которая, собственно, и есть мой ребенок. «Ты же сказала, что можно внутрь», – напомнил я, исполнившись негодующей правоты: я ведь имел в виду, опасные или безопасные у нее сейчас дни. «Я и скасала: моосно. Я котоофа фсяаать отфеэтстфенность». – «Зато я не готов». – «Я самаа хосаяйка сфоефоо теэла. Я не опяасана тепяа спраасифать».

Так вот они какие, европейские женщины...

– Но это же предательство!

Я кое-как натянул покоробившуюся от близости огня одежду.

И какой же страшной и ледяной оказалась карельская дотлевающая белая ночь!

Спал ты или не спал, радостен ты или раздавлен, ты все равно не имеешь права давить спутников молчанием, но мои попытки заговорить о том о сем как ни в чем не бывало никто не поддерживал. Гребли по очереди против ветра и даже показывали, что пора меняться, языком жестов. Ойли бесшумно сидела на руле, целеустремленно глядя вперед, как корабельная дева. Только у входа в гостиницу на классицистской площади она придержала меня за рукав и вложила в руку колючую визитную карточку. Меня бы это растрогало, но она такую же карточку протянула и Глебу, и Саринину. Кажется, она хотела что-то сказать, но тут из дверей выбежала пара очень элегантных цирковых лилипутов, переговаривающихся звонкими мальчишескими голосами (город был завешан афишами об их выступлениях), и мы оба вспомнили о том, что нас разъединило: *реппёонок*.

Номер у нас с Глебом был один на двоих, и мне пришлось скрыться в ванной, чтобы в мелкие клочки разорвать ее карточку. Но все-таки я не удержался и навсегда запомнил ее адрес и телефон. Это не имело значения, я был уверен, что больше никогда ее не увижу.

Зато Глеб списался с ней и довольно скоро по ее приглашению уехал в Финляндию – устал смотреть, сказал он мне на прощание, как люди умирают из-за нехватки лекарств. Как ни странно, у него был неплохой английский, и он быстро нашел работу типа медбрата – у них было что-то вроде лимитной прописки для дефицитных профессий. Он сразу отличился – выбил у медсестры шприц, которым она по ошибке готовилась ввести убийственное зелье. Но и медсестре удалось его поразить: она покупала в аптеке снадобье, которое стояло у нее в шкафу в таком количестве, что исчезновения пары флакончиков никто бы не заметил. Глеб со сказочной быстротой сдал все экзамены и по языку, и по профессии, и по медикаментам, и по законодательству и сделался главной медицинской звездой в городке, оканчивающемся на «пуйсто». Но по-прежнему не уставал восхищаться честностью финнов. Да и чувства чести они были не лишены: во время праздников непременно поступали пациенты с колото-резаными ранениями. Но причиной схваток никогда не были деньги – только оскорбленное достоинство. И мордобоя пьяные финские бургеры не чуждались, в этом они были похожи на нас. Но с большим отличием: дрались те, кто до этого пили вместе. А чтобы напиться и пойти бить морды

случайным встречным – такого за финнами не водилось, морды они били исключительно по заслугам.

Время от времени Глеб встречался с Ойли, но упоминал об этом как о незначительном событии, не догадываясь, что ее имя каждый раз вызывает у меня тахикардию. Сам он женился на красавице из аристократического шведского рода, отец – какая-то шишка в муниципалитете, чуть ли не мэр, мать – директор шведской школы, и в роду у них сплошные мэры и генералы, и двое глебовских пацанов тоже настоящие викинги – не говорят по-русски, гоняют на яхте по фиорду, на берегу которого стоит глебовский двухэтажный дом...

Глеб постоянно зазывал меня к себе, но...

– Но на кого же наш гость мог оставить свою чахоточную деву! – гулкий голос сердитого докладчика выдернул меня обратно в тесный чистенький бокс.

Похоже, они с карельской пепельницей читали мои мысли. Может, он уже и правда не Саринин и не Сааринен, а Вяйнямёйнен? Я бы уже ничему не удивился. Лет через пять после нашего карельского турне он появился у меня совершенно седой и страшно сосредоточенный, с окаменелыми скулами, ни на какие радостные возгласы не откликнулся и к чаю не притронулся. Мне показалось, он как-то укрупнился чуть ли не до глебовских габаритов.

Мрачно и серьезно он поведал, что его единственный сын занялся каким-то бизнесом и его задушили шнуром от электрического утюга. И пока я молчал, онемев от ужаса, он подробно распространялся, сколь поверхностно велось следствие, как будто именно это было самым важным. Да, на шнуре отпечатки пальцев не остаются, с этим он не спорит, но они могли остаться на рукоятке утюга, а его никто не осмотрел.

– А как ваша жена? – наконец решился спросить я, и Саринин сердито отрезал:

– Она умерла от горя. Не сумела выйти из него в какое-то собственное дело. Не отвлекайтесь. Я к вам по другому вопросу. Я после смерти сына увлекся биологией и сделал открытие на две Нобелевские премии. Одну за генетику, а другую за мир. Я раскрыл причины войн и указал метод, как от них избавиться. Вы ведь медицинский работник, у вас есть знакомые генетики?

Леха Ткачук с нашего курса недавно защитил докторскую по медицинской генетике, но скажет ли он мне спасибо, если я попрошу его выслушать явного сумасшедшего?.. Саринин, однако, избавил меня от мучительного выбора между двумя видами неправоты:

– Так если я ему расскажу, он сразу все присвоит...

Он уже и ко мне пригляделся с подозрением и тут же мрачно откланялся. Мог ли я подумать, что когда-то встречу его в восстановительной клинике Глеба, возвращающего несчастным дар речи своим басом-профундо?

Но в то, что вместе с даром речи он обретет еще и дар ясновидения и яснослышания, – в это я и сейчас поверить не мог, хотя все видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

Да может, это и вообще не он? Но и не Вяйнямёйнен же?

А облеченный в небесную лазурь седобородый Вяйнямёйнен снова чеканил как по-писанному:

– С началом военных действий принцесса начала чахнуть стахановскими темпами. Наш гость умолял ее обследоваться, но она еле слышно возражала: «И что, после обследования людей перестанут убивать?» – «Но не убивай меня хотя бы ты сама!» – иногда не удерживался наш гость, и она отвечала чуточку громче: «Если тебе так тяжело на меня смотреть, я могу уйти». И однажды наш гость в отчаянии удалился на кухню и увидел там длинное льняное полотенце. Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, он захлестнул его на шею и принялся изо всех сил тянуть за концы. Голова налилась так, что готова была лопнуть, но дыхание до конца никак не пресекалось, он все сипел и сипел, и выпустил полотенце, только когда боль в набрякших висках сделалась нестерпимой. Как медицинский работник наш гость не верил,

что можно умереть от избытка духовности, но уже начинал в этом сомневаться. Пока у его богини не началась непроходимость вследствие рака прямой кишки с последующим перитонитом. Боли были настолько ужасающими, что из ее искусанных рук кровь уже не сочилась, а текла ручьями, и все-таки скорую помощь ему пришлось вызывать вопреки ее пронзительным воплям: «Я уйду из дома, и ты больше меня не увидишь!» И она ушла бы, если бы была в силах двигаться. Она умерла на операционном столе, и оперировавший ее хирург сказал нашему гостю, что если бы не видел в нем сумасшедшего, пребывающего под властью индуцированного психоза, то возбудил бы против него уголовное дело об оставлении без помощи. «Вы оба сумасшедшие», – бросил ему в лицо этот мясник, не понимающий, что истинно высокие души не могут принять кишечных безобразий.

Я слушал не поднимая глаз. Да, можно сказать, что я погубил ее своим невмешательством, но я-то знаю, что ее погубила ее высокая душа. У меня такой высокой души не было, и потому я не умер от горя. Душевная боль была невыносимой, я тоже грыз себе предплечья, чтобы было не видно под одеждой, раздирал грудь ногтями, а давление все равно колебалось в пределах нормы, и в кардиограмме тоже все зубцы были на месте.

Но я больше не имел права диагностировать других, если проморгал страшный диагноз у самого дорогого для меня человека, у моей любимой девочки. Только куда мне было деваться из проклятой физиотерапии, ведь, кроме медицины, я ни в чем не разбирался. Хотя, как выяснилось, не разбирался и в ней.

Выручил меня кладбищенский камнерез-философ, не снимавший серый ватник, видимо, как униформу, хотя была уже весна.

– Наш гость долго придумывал надгробную надпись для своей принцессы, – подхватил Вайнямёйнен, – и наконец отыскал ее у Лермонтова: «и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Он долго наблюдал за камнерезом, высекавшим на скверном сером мраморе эти слова, прежде чем решился ему посочувствовать: трудная-де у вас работа, все время рядом со смертью, с горем... И тот прямо обрадовался. Выпрямился и произнес спич, совершенно неожиданный для его простецкой одутловатой физиономии: «Наоборот. Рядом со смертью люди забывают о склоках. Как в церкви. И потом, здесь ты всегда на свежем воздухе». Наш гость был так поражен этой мудростью, что с надеждой спросил: «А вам не нужен помощник?» И наконец-то обрел уголок, где больше не ощущал своей неправоты. Только перед мертвыми он был ни в чем не виноват. Перед чужими мертвыми. Но однажды он за спинами присоединился к небольшой толпишке, хоронившей знакомого физиотерапевта, всегда уверенного, что он правильно знает и места, и дозы. Речи произносили очень скучные, вымученные, и белая в черном обрамлении вдова заметила его и попросила тоже сказать несколько слов. И наш гость рассказал, как покойный с детства мечтал служить людям и как мало люди это ценили, и голос его срывался, а по щекам катились слезы. Все были потрясены, а вдова разрыдалась у него на плече, и он сам едва справлялся с рыданиями. После этого маленького триумфа его начали просить выступить с надгробной речью совершенно незнакомые люди, и он обо всех говорил одно и то же: каким чудесным ребенком был покойный или покойная, как они мечтали о чем-то прекрасном и как жестоко и несправедливо обошлась с ними жизнь, не оценившая их высоких душ, – и каждый раз все плакали. Близость смерти совлекала с людей покров правоты, и они начинали слышать правду. Потому что это всегда была правда, казалось ему.

«Это и есть правда», – подумал я, и Вайнямёйнен снова расслышал мою мысль.

– Это правда для людей, но не для павианов. Эти выступления и слияния в общем горе приносили нашему гостю минуты, а иногда и часы отдохновения. Но еще большее отдохновение приносило ему жжение за грудиной, появлявшееся во время быстрой ходьбы. Уж не инфаркт ли, с надеждой думал наш гость, однако при медленной ходьбе жжение отступало. Тем не менее он на всякий случай по телефону посоветовался с Глебом, и Глеб на него буквально накричал: «Ты что как деревенская бабка? Немедленно запишись к кардиологу!» Но

оказалось, что записаться к кардиологу теперь нельзя, нужно сначала записаться на прием к дворнику. Затем дворник должен дать направление к начальнику ЖЭКа, начальник ЖЭКа к терапевту, а уже терапевт, если сочтет достойным, к кардиологу. Наш гость, не торопясь, прошел все эти стадии, но в то утро, когда он наконец дослужился до терапевта, боль усилилась до такой степени, что он не мог идти. Еще к тому же ночью взорвалась лампочка на кухне, вылетели пробки, пришлось в полной темноте разыскивать спички, потом распределительный щиток, потом подметать мелкий хрусталь осколков... Короче говоря, в поликлинику ему пришлось ехать на трамвае, к тому же испытывая страх, что его вот-вот вырвет. Досидев до терапевтессы, он почувствовал, однако, что боль почти прошла. Кардиограмма тоже оказалась нормальной, и ему дали направление к кардиологу через две недели. На улице боль, однако, снова вернулась, да такая, что он мог переступать только гусиными шагочками. Он снова позвонил Глебу, и Глеб заорал своим профундо: «Ты сдурел?! Какие две недели?! Иди срочно к платному!» – «Но я всю жизнь лечил людей бесплатно...» – «Я тебя не понимаю! Ты хочешь жить?!» – «Не хочу». – «А придется». Через пять минут Глеб позвонил снова. Наш гость к этому времени успел протащиться метров пятьдесят. «Я тебя записал на Марата, двигай туда, через час тебя примут. Если не можешь идти, возьми такси». Но он идти мог. До клиники было метров пятьсот, как раз на час хода. В платной клинике царили простор, свет и вежливость. Врачиха, выслушав его, ужаснулась: «Нужно немедленно вызвать скорую!» – «Но у меня же была нормальная кардиограмма!» – «Вы что, не знаете, что нужно ориентироваться не на кардиограмму, а на клинические симптомы?» – «Знаю, но не хочу впадать в панику. Мне нужно хотя бы за зубной щеткой заехать». – «О чем вы?.. Какая зубная щетка! Вы жить хотите?» – «Не хочу». – «У вас есть жена? Она может передать». – «У меня никого нет». Наш гость рвался за своей щеткой, как Тарас Бульба за своей люлькой, и собирался не торопясь. Уложил в чемоданчик на колесиках тренировочный костюм, несколько книг, до которых не доходили руки... Смерть от инфаркта его не пугала, но он страшился смерти от скуки и тоски.

В мое время скорую вызывали по 03, а нынешний номер я все время забывал. Но Глеб в своей Финляндии и его знал. Дозвонился я легко, довольно быстро приехали две тетеньки, не спеша расспросили, записали, замерили то да се и чемоданчик катить мне самому не позволили.

Карета внутри была не в пример просторнее нашей и даже отдавала космическим кораблем, мне было неловко, что ради меня гоняют такую махину. В приемный покой вкатили на кресле-каталке. Я попытался идти сам, но тетеньки объяснили, что их за это будут ругать. Больница была огромная, не нашей с Глебом чета – мне показалось, что я попал на какой-то привал беженцев. На ближайшей каталке неподвижно возлежала раздувшаяся женщина, которую с бесконечной нежностью и грустью держал за руку иссохший седой старик. На кресле слева желтая вамп тщетно старалась при помощи темных очков скрыть огромный кровоподтек. На кресле справа... Но перечислять можно бесконечно, тем более что санитары и санитарки на рысях кого-то постоянно привозили и увозили. Я потянулся за книгой, все равно какой, лишь бы не видеть этого чистилища, но юная медсестричка выхватила мой чемоданчик: «Вам нельзя нагибаться, видите, какой вы сделались красный!» – «Это только снаружи. Внутри я социал-демократ», – вспомнил я Довлатова, и тут мне в грудь невидимая рука вонзила раскаленную тупую арматуру. «Как вы себя чувствуете, вы белый как стенка!..» – с ужасом воззрилась на меня добрая сестричка, но я ответить не мог, только сипел и чувствовал, что я весь мокрый от ледяного пота.

Налицо были все признаки инфаркта, кроме страха смерти. Вместо страха я ощущал какую-то надменность: вот теперь-то я наконец перед всеми прав. Прибежал какой-то парень, раздвинул мне веки, потом ужалил в плечо. Стало вроде бы не так больно. Не давши мне встать, вдвоем переложили на каталку и долго на рысях катили унылыми казенными коридорами, вка-

тывали и поднимали не то опускали на трясущемся скрипучем лифте – я был неодушевленным предметом, готовым встретить что угодно с ощущением своей непреклонной правоты.

В каком-то преддверье молодая медсестра, полуотворачиваясь, раздела меня догола, – правота позволила мне пережить это без особого смущения, – затем накрыла простыней, и я оказался...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.